

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ И Б. С. КУЗИН. МАТЕРИАЛЫ ИЗ АРХИВОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемые ниже материалы интересны во многих отношениях. Прежде всего, конечно, как свидетельство удивительной дружбы поэта и ученого, О. Э. Мандельштама и Б. С. Кузина. Несомненно, эти материалы представляют собой драгоценные источники для биографии поэта. Столь же несомненно, что позволяют увидеть, как ярка личность Б. С. Кузина, встречей с которым в 1930 г. и дружбой О. Э. Мандельштам был «как выстрелом разбужен».

Борис Сергеевич Кузин (1903—1973) — доктор биологических наук, энтомолог, в течение почти 20 последних лет своей жизни руководитель и организатор научной жизни Института биологии внутренних вод АН СССР («Борок»), возглавлявшегося И. Д. Папаниным. Имя Б. С. Кузина гораздо менее известно, чем имя его корреспондента. Может быть, это объясняется тем, что свои исследования по теоретической биологии, по философским проблемам систематики и другие труды он опубликованными не увидел.

О. Э. Мандельштам посвятил Б. С. Кузину стихотворение «К немецкой речи». Оно было написано в августе 1932 г.¹ Это вдохновенный гимн дружбе — побудительнице поэтического творчества.

Имя Б. С. Кузина можно встретить и в «Путешествии в Армению». Его нетрудно угадать под инициалами Б. С. и Б. С. К.² О. Э. Мандельштам вспоминает беседы с ним об исследованиях биологов Е. С. Смирнова и А. Г. Гурвича. Именно эту рукопись послал О. Э. Мандельштам М. С. Шагинян и именно о ней идет речь в письме, которое здесь впервые публикуется полностью. Высоко оценивая достоинства своего друга, поэт бесстрашно пытается вмешаться в его трагическую судьбу: во время подготовки рукописи О. Э. Мандельштама к публикации в журнале «Звезда» Б. С. Кузин был арестован. Этим объясняется и то, что в журнальном издании инициалы Б. С. Кузина были заменены (на А. Б. Зотова); в более поздних публикациях инициалы Б. С. Кузина восстановлены по рукописи.

Опубликованная в журнале «Природа» переписка Б. С. Кузина и А. А. Любищева [1], а также рукописи «Принципы систематики» Б. С. Кузина, отрывки из которой здесь печатаются, помогает нам понять, чем именно привлек Борис Сергеевич поэта: он — живое воплощение гетевского идеала — союза науки и искусства. Не считая интеллект единственным орудием научного познания, Б. С. Кузин утверждал, что не менее важное в науке открывается «через искусство и через общение с людьми и с животными. Подлинному биологу необходимо понимать язык искусства... Именно она (биология) некоторыми своими сторонами так тесно примыкает к искусству (морфология в наибольшей степени)» [2]. Для него мир художественной образности был неразрывно связан с научным мировоззрением. Б. С. Кузин многообразие органического мира воспринимал через многообразие и красоту мира художественного и всегда подчеркивал их единство. «Структуры каждой данной группы организмов,— писал он,— не только многообразны, но и прекрасны, как залы с картинами Рембрандта,

¹ Опубликовано в «Литературной газете» 23 ноября, 1932, № 53.

² Впервые опубликовано в журнале «Звезда» (1933, № 5. С. 103—125), затем в «Литературной Армении» (1967, № 3. С. 83—99), где восстановлены именами персонажей.

Сезанна, Сурикова [3, с. 35]. Он называл природу гениальным художником: «...развитие зуба из плакондной чешуи кажется не менее захватывающим, чем похождение Тома Джона или пылкого друга Манон Леско». Получив в 1941 г. монографию о готической архитектуре, он пишет жене — архитектору А. В. Апостоловой: «...я еще больше убедился, что проблема стиля вполне тождественна с проблемой системы в биологии. Придумал несколько очень полезных аналогий, с помощью которых мне легче будет выразить некоторые свои представления об органической системе. Но ко всему этому нет у меня сейчас настоящего вкуса и жара. А наукой и искусством нельзя заниматься не бредя ими, не находясь в горячечном состоянии...»³. «...поднять биологию на подобающую ей высоту,— писал Б. С. Кузин,— способен только ученый, полноценно воспринимающий искусство. Он может ни в одном своем писании не упомянуть ни о Бахе, ни о Пушкине, но чисто научная его мысль парит на большой высоте, если ему понятно, каких вершин духа достигали эти гении. Я говорю о биологии, а не о естественных науках вообще, потому что именно она некоторыми своими важнейшими сторонами так тесно примыкает к искусству» [10]. А в другом месте он так охарактеризовал свой вклад в биологию: «Больше же всего я ценю то, до чего я додумался в общих вопросах биологии, и через это привел в единство свои научные взгляды с жизнью и со своим отношением к искусству» [11].

Долгая и плодотворная дружба Б. С. Кузина с О. Э. Мандельштамом не прошла бесследно для каждого из них: благодаря Б. С. Кузину О. Э. Мандельштам заинтересовался биологией и оставил несколько заметок о натуралистах XVIII—XIX вв., а Б. С. Кузин, профессиональный биолог, писал стихи, в том числе и на латинском языке, эссе, рассказы, ничего общего не имеющие с дилетантизмом («пиквикизмом», как он это называл). Он владел многими европейскими языками (Борис Сергеевич, по его свидетельству, сохранившемуся в письме к жене от 19 февраля 1941 г., переписывался с О. Э. Мандельштамом по-испански), жил музыкой, что нашло свое выражение, в частности, в его «Разговорах о Бахе (Орбиты Баха)», к сожалению, до сих пор не опубликованных.

В своих записных книжках О. Э. Мандельштам признавал: «С тех пор, как друзья мои — хотя это слишком громко, я скажу лучше приятели — вовлекли меня в круг естественнонаучных интересов, в жизни моей образовалась широкая прогалина. Перед мной раскрылся выход в светлое деятельное поле» [4, с. 160—161]. Можно со всей определенностью сказать, что новое поле деятельности связано с постижением единства науки и искусства. И для Б. С. Кузина, и для О. Э. Мандельштама было неприемлемо расщепление человеческих способностей на интуицию и рассудок, проведение жестких граней между наукой и искусством. Каждый из них стремится выявить их цельность, показать нерасторжимость эстетической интуиции и интеллекта, связь метафоричности художественных ассоциаций и глубоких научных абстракций. Поэтому и О. Э. Мандельштам не может видеть в интеллекте единственную способность мысли: по его словам, и «глаз есть орудие мысли» [5, с. 160]. Для него и зрение есть путь к умозрению, а художественное созерцание не есть что-то потустороннее для знания. Наоборот, оно пронизывает самые высокие абстрактные построения человеческого ума и науки. В противном случае интеллект иссушается, превращается в то, что он называл «неорганическим мышлением», отстраненным от «первообраза мышления органического».

Стремясь выявить единство искусства и науки, О. Э. Мандельштам обращается к такому компоненту научного творчества, как стиль произведений ученого. «Стиль натуралиста — один из главных ключей к его мировоззрению, так же как глаз его, его манера видеть — ключ к его методологии», — писал он в заметках к статье «Вокруг натуралистов» [4, с. 172]. Эта ориентация на цельность человеческих способностей, на осознание эстетически-стилевых особенностей творчества различных ученых отчетливо

³ Б. С. Кузин — А. В. Апостоловой от 19 февраля 1941 г. (архив семьи Б. С. Кузина). Ср. с замечанием О. Э. Мандельштама о готических соборах: «Издали они похожи на каменные леса, увенчанные башнями. Вблизи они удивляли глаз обилием растительных завитков, фантастической скульптурой, в которой повторялись морды животных, листья и цветы. Из главной точки каждого свода расходились мощные ребра. Равновесие и полет были законом архитектуры. Жизнь едина во всех проявлениях» (Юность Гете//Собр. соч. Т. 3. С. 67).

выражена в его замечаниях о стилистике натуралистов XVIII и XIX вв. Они касаются и сопоставления живописности натуралистических описаний XVIII в. с миниатюрами, и сравнения стиля Ч. Дарвина и Ч. Диккенса, и уподобления стиля Ч. Дарвина стилистике английских газет того времени (по его словам, произведения Дарвина это — «кипящая фактами и бесперебойно пульсирующая газета природы» [4, с. 171]), и раскрытия всей глубины художественно-научной революции, осуществляемой Дарвиным, для которого книга Природы предстает не как Библия, а «как деловой справочник, биржевой указатель, индекс цен, примет и функций» [4, с. 173]. Характеризуя натуралистов XVIII в., О. Э. Мандельштам постоянно проводит ассоциации с музыкой того времени. Так, говоря о Палласе, он замечает, что тот, «кто не любит Гайдна, Глюка и Моцарта, — тот ничего не поймет в Палласе». По его словам, Ламарк «слышит синкопы и паузы эволюционного ряда» [4, с. 161; 6, с. 117]. Все такого рода ассоциации, сопоставления и уподобления отнюдь не являются химерами мысли или, как говорил один из критиков, порождением «графоманского косноязычия» [7]. Они — выражение мировоззрения поэта и его фундаментальной установки, которая сроднила их с Б. С. Кузиным, — постичь живую, взаимопроникающую связь научного и художественного мышления. Вспоминая об О. Э. Мандельштаме, Б. С. Кузин писал, что это «поэт поэтов, мой бесконечно дорогой друг и мученик, память о котором никогда не перестанет жечь меня» [8, с. 13]. Вдова поэта Н. Я. Мандельштам писала о дружбе семьи Мандельштамов с Б. С. Кузиным: «Я знаю, что это громадная близость. Не только потому, что мы столько-то там дней имели о чем говорить, а черт его знает почему... и может самая содержательная часть жизни прошла вместе. А конечно, встреча была судьбой для всех тронх. Без нее, — Ося часто говорил, — может и стихов бы не было» [9].

Материалы, публикуемые в журнале (помимо письма О. Э. Мандельштама к М. С. Шагинян), касаются разных сторон творчества Б. С. Кузина. Свидетельством духовной близости О. Э. Мандельштама и Б. С. Кузина являются отрывки из воспоминаний Б. С. Кузина. Два письма рокового для О. Э. Мандельштама 1938 г. (2 мая он был арестован и 27 декабря этого же года умер в транзитном лагере), — драгоценные свидетельства состояния духовного мира поэта. Они были обнаружены М. А. Давыдовым в 1981 г. в семейном архиве Б. С. Кузина среди многочисленных писем вдовы поэта.

Неразделимость чувства и понимания природы в их художественном выражении и научном искании привлекала к Б. С. Кузину не только О. Э. Мандельштама, но и другого большого поэта — Б. Л. Пастернака. В 1948 г. Б. Л. Пастернак познакомился со стихами Бориса Сергеевича и написал ему письмо. Оно звучит как подлинная исповедь поэта,веряющего человеку, хотя и лично ему не знакомому, но духовно очень близкому, сокровенные взгляды на поэтическое творчество. «Чтобы не быть голословным», в знак высокого доверия Б. Л. Пастернак приложил к письму тетрадь с подборкой стихов из романа «Доктор Живаго», над которым он, как сообщается в письме, в то время работал⁴.

Завершают эту подборку две главы (5-я и 7-я) из неопубликованного труда Б. С. Кузина «Принципы систематики»⁵. В нем резюмированы основные идеи его философии биологии, его представления о предмете и методе не только систематики, но и биологии в целом. Рукопись «Принципы систематики» состоит из 12 глав: 1 — «Предмет систематики. Ее положение в ряду морфологических дисциплин»; 2 — «О характере многообразия живых форм и о реальности систематических групп»; 3 — «О форме естественной системы»; 4 — «О смысле многообразия живых форм»; 5 — «Тип как основное понятие систематики»; 6 — «Некоторые особенности нашей концепции типа»; 7 — «Естественные системы и филогения»; 8 — «Вид и подчиненные ему единицы»; 9 — «О типах географической изменчивости»; 10 — «О таксономии валентности и о выведении признаков»; 11 — «Определение таксономического ранга группы»; 12 — «Систематика и математика».

Как видим, круг проблем рукописи весьма значителен. В ней затронуты фундаментальнейшие проблемы систематики, которая, по мнению Б. С. Кузина, в свою очередь

⁴ Текст письма и тетрадка стихов Б. Л. Пастернака были обнаружены М. А. Давыдовым в семейном архиве Кузиных-Апостоловых и переданы Е. Б. Пастернаку.

⁵ Они будут опубликованы в следующем номере журнала.

является средоточием всей биологии. Среди советских биологов Б. С. Кузин был, очевидно, одним из первых, кто не только задумался над трудностями филогенетической систематики, но и предложил свою концепцию типологической систематики. Надо отметить, что в наши дни трудности и противоречия филогенетической систематики осознавали многие. Уже почти общепризнанно, что систематика шире филогенетического подхода, что она включает в себя и иные подходы и методы, что можно построить систематику, не касаясь вопросов о родстве организмов и не строя их «филогенетического древа». Возникло даже направление «фенетической систематики». Многие говорят о кризисе филогенетической систематики, подчеркивают, что широко распространенное представление о том, что филогенетическая систематика — единственно возможная система организмов, нуждается в пересмотре [12—15]. Б. С. Кузин не прибегал к столь решительным выражениям. Он указывал на то, что исторический подход в систематике занимает вполне определенное место в биологии, что существуют естественные системы, отражающие ход филогенетического развития группы, к ним, например, принадлежат хордовые. Однако он всегда подчеркивал, что филогенетическая систематика не может исчерпать и не исчерпывает всю систематику. Ядром построенной Б. С. Кузиным концепции систематики является понятие типа, противопоставляемое понятию общности происхождения, на котором основывается филогенетическая систематика.

Фрагменты из рукописи Б. С. Кузина «Принципы систематики» печатаются по авторской копии, хранящейся в архиве М. А. Давыдова; «Воспоминания о Мандельштаме» — по авторской копии, хранящейся в архиве А. А. Гурвич. Автограф письма О. Э. Мандельштама М. С. Шагниня хранится в семейном архиве М. С. Шагниня. Е. В. Шагниня любезно предоставила его для публикации П. М. Нерлеру.

Письма О. Э. Мандельштама Б. С. Кузину хранятся в архиве А. В. Кузиной-Апостоловой (1899—1984). Редакция благодарит П. М. Нерлера за предоставленные материалы. Публикация подготовлена М. А. Давыдовым и А. П. Огурцовым.

Литература

1. Б. С. Кузин и А. А. Любищев о систематике//Природа. 1983. № 6. С. 74—87.
2. Б. С. Кузин — А. А. Гурвич от 5 октября 1971 г.//Архив семьи Б. С. Кузина.
3. Кузин Б. С. Принципы систематики. Авторская машинописная копия//Архив семьи Б. С. Кузина и М. А. Давыдова.
4. Мандельштам О. Э. Собр. соч. Т. 3.
5. Мандельштам О. Э. К проблеме научного стиля Дарвина//За коммунистическое просвещение. М., 1932, 21 апреля, № 94 (963). С. 3. См. также: Природа, 1977. № 1.
6. Мандельштам О. Э. Путешествие в Армению//Звезда. 1933. № 5.
7. Тарасенков А. Графоманское косноязычие//Знамя. 1935. № 1.
8. Кузин Б. С. Орбиты Баха. Машинописная рукопись//Архив семьи Б. С. Кузина.
9. Н. Я. Мандельштам — Б. С. Кузину от 10 декабря 1945 г.//Архив семьи Б. С. Кузина.
10. Б. С. Кузин — А. А. Гурвич от 5 февраля 1973 г.//Архив А. А. Гурвич.
11. Кузин Б. С. Предисловие ко всем моим неопубликованным сочинениям. Машинописная рукопись//Архив семьи Б. С. Кузина.
12. Красилов В. А. Современные проблемы соотношения филогении и систематики//Зоология позвоночных. Т. 7. М., 1975.
13. Мейен С. В., Соколов Б. С., Шрейдер Ю. А. Классическая и неклассическая биология. Феномен Любищева//Вестн. АН СССР. 1977. № 10. С. 112—124.
14. Шаталкин А. И. Современное развитие филогенетической систематики Вилли Хеннига//Журн. общ. биологии. 1986. № 1, т. XLVII. С. 13—29.
15. Шукров В. А. Значение философии для биологического познания//Союз философии и естествознания на современном этапе. М., 1987. С. 20—30.

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ — М. С. ШАГИНЯН

5.IV 1933 г.

Дорогая Мариэтта Сергеевна!

Эта вещь, которую я вам посылаю и хочу, чтобы вы прочли, еще не напечатана (будет в «Звезде» и в Ленингр(адском) изд(ательстве))¹, но случилось так, что эта вещь — эта рукопись уже работает и дышит, как живой человек, отвечает, как живая из живых и вместе с ними борется. Помните, в Эрване я брал у вас томик Гете и читали статейку в З. К. П., где я поклонился и от вас и от себя «живой» природе. Тематика наших беглых встреч с вами и даже через Якова Самсоновича², который умеет и любит слушать для вас, — всегда была защитой действительности от мертвых ее определителей. Вы всегда бранили меня за то, что я не слышу музыки материализма, или диалектики, или все равно как называется.

Эти же разговоры продолжаются в моем «Путешествии». Материальный мир — действительность — не есть нечто данное, но рождается вместе с нами. Для того, чтобы данность стала действительностью, нужно ее в буквальном смысле слова воскресить. Это-то и есть наука, это-то и есть искусство.

Дружба с героем моей полуповести — она-то и помогла мне эту воскрешающую работу проделать. Самое личное из наших качеств помогло мне сделать такой прыжок в объективность, который мне даже не снился. Кто я? Мнимый враг действительности, мнимый отщепенец. Можно дуть на молоко, но дуть на бытие немножко смешновато. Но для того, чтобы действовать, нужно бытие густое и тяжелое, как хорошие сливки, — бытие Аристотеля и Ламарка, бытие Гегеля, бытие Ленина.

Каково же бывает, когда человек враждующий с постылым меловым молоком полуреальности, объявляется врагом действительности, как таковой. Так случилось с моим другом — Борисом Сергеевичем Кузиным — московским зоологом и ревнителем биологии. Личностью его пропитана и моя новенькая проза и весь последний период моей работы. Ему и только ему я обязан тем, что внес в литературу период т. н. «зрелого Мандельштама».

Из прилагаемой рукописи — лучше, чем из разговоров со мной, вы поймете, почему этот человек неизбежно должен был лишиться внешней свободы, как и то, почему эта свобода неизбежно должна быть ему возвращена. Замечу в скобках, как скучное и само собой разумеющееся, что каждый шаг жизни Бориса Сергеевича мне известен, что круг его деятельности и интересов только по домашним признакам и научной специфике разнятся от моего. У меня всегда было о нем дурное предчувствие, но там, где другой сказал бы о нем «плохо кончил», я хочу сказать — как бы внешне ни обернулось для него — он сейчас начинает и начинает хорошо. У меня отняли моего собеседника, мое второе я, человека, которого я мог и имел время убеждать, что в революции есть и интеллект, и виталистическое буйство, и роскошь живой природы.

Я переставил шахматы с литературного поля на биологическое, чтобы игра шла честнее. Он меня по-настоящему будоражил, революционизировал, я с ним учился по-

¹ Имеется в виду «Путешествие в Армению» (в Армении О. Э. Мандельштам был с мая по октябрь 1930 г.). Рукопись «Путешествие в Армению» в архиве М. С. Шагинян не разыскана. Она была передана в Издательство писателей в Ленинграде (членом правления которого была М. С. Шагинян) и доведена до третьей корректуры (датируется 31 июля 1933 г.). Переплетенный экземпляр корректуры (под условным названием «Севан») — в библиотеке ЦГАЛИ (№ 23692, из собрания Б. С. Соловьева, бывшего в середине 30-х годов заместителем главного редактора «Советского писателя»). Книга так и не вышла (по-видимому, в связи с появлением в «Литературной газете» и «Правде» разгромных статей Н. Оружейникова и С. Розенталя — соответственно 17 июня и 30 августа 1933 г.). — Прим. П. М. Нерлера.

² Речь идет о газете «За коммунистическое просвещение», где 21 апреля 1932 г. в № 94 (963) была опубликована статья О. Э. Мандельштама «К проблеме научного стиля Дарвина» (позднее перепечатана в журнале «Природа». 1977. № 1. С. 158—160). Яков Самсонович Хачатрянц (1884—1960) — филолог, переводчик, муж М. С. Шагинян.

нимать, какую уйму живой природы, воскресшей матери поглотили все великие воинствующие системы науки, поэзии, музыки.

Мы раздирали идеалистические системы на тончайшие материальные волокна и вместе смеялись над наивными, грубо-идеалистическими пузырями вульгарного материализма. Большинство наших писателей думают, что идеология — это дрожжи, которые завернуты в пакетик и без которых никак нельзя. Им бы хоть сотую долю Энгельсовой бурности и познавательной страсти молодого марксизма. У нас между наукой и поэзией пошлейшее разделение труда. (Хороша была смычка у Леонова в «Скутаревском») ³. Полное отсутствие взаимного интереса и любострастия, какие-то спецы, ведущие переписку из этажа в этаж.

Мариэтта Сергеевна! Я хочу, чтобы вы верили, что я не враждебен рукам, которые держат Бориса Сергеевича, потому что эти руки делают и жестокое и живое дело.

Но Борис Сергеевич не спец и поэтому-то сама внешняя свобода, если наша власть сочтет возможным ему ее вернуть — окажется лишь крошечным придатком к той огромной внутренней свободе, которую уже дала ему наша эпоха и наша страна.

Ваш О. Мандельштам.

Простите, что писано не моей рукой: не умею;
диктовал жене
5 апр. 33 г.

³ Имеется в виду роман Л. Леонова «Скутаревский» (1932), где в центре образ ученого-физика.

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ — Б. С. КУЗИНУ

26.II 1938 г.

Дорогой Борис Сергеевич!

Хочу написать вам настоящее письмо — и не могу. Все на ходу. Устал. Все жду чего-то. Не гневайтесь. Пишите сами и простите мою немоту. Очень устал ¹. Это пройдет. Скучаю по вас.

О. М.

¹ 21.II.1938 г. Н. Я. Мандельштам писала Б. С. Кузину: «Я все жду, чтобы Ося написал вам, но он как то так съезжился, что даже письма написать не может».

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ — Б. С. КУЗИНУ

10.III 1938 г.

Дорогой Борис Сергеевич!

Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате: так на меня повлияла новая обстановка. «Имею право бить в бубен с бубенцами». В старой русской бане сосновая ванна.

Глушь такая, что хочется определить широту и долготу.

Сборы были огромные. Очень трогательное расставание с калининскими хозяевами.

С собой груда книг. М(ежду) п(рочим) весь Хлебников. Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. «Общественный ремонт здоровья» — значит от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому ¹ я говорил, что буду

¹ Ставский Владимир Петрович (1900—1943) — советский писатель, с 1936 г. Генеральный секретарь Союза писателей СССР, в 1937—1941 гг. — главный редактор журнала «Новый мир».



Б. С. Кузин. 20-е годы



О. Э. Мандельштам. 30-е годы

бороться в поэзии за музыку зяждущую. По мне небывалое доверие ко всем подлинным участникам нашей жизни и воли встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости,— но ничего, ничего, не страшно! Чуть-чуть не сделался переводчиком. Давали дневник Гонкуров². Потом раздумали. Ничего, пока не дали.

Любопытно: как только вы написали о Дворжаке, купил в Калининне пласт(инку). Слав(янские) танцы № 1 и № 8 действительно прелесть. Бетховен(ская) обработка народных тем, богатство ключей, умное веселье и щедрость.

Шостакович — Леонид Андреев. Здесь гремит его 5-я симфония. Нудное запугивание. Полька Жизни Челов(ска). Не приемлю³.

Не мысль. Не математика. Не добро. Пусть искусство: не приемлю! Здравствуйте (?) же и до свидания.

Еще поговорим
О. М.

² Издание не состоялось. «Дневник» Э. и Ж. Гонкуров издан лишь в 1964 (т. 1, 2).

³ Имеется в виду произведение Л. Андреева «Жизнь человека» (1907). Ср. с оценкой «Жизни человека» в статье «Революционер в театре». См.: Театр и музыка. 1923. № 1—2. 5 января.

ОБ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМЕ

Б. С. КУЗИН

[...] Первые декады нашего столетия часто называют серебряным веком русской поэзии, подразумевая под золотым первую половину прошлого. Я считаю это несправедливым и думаю, что сравнительная оценка этих двух периодов была бы не так решительна, если в более раннем не сияло имя Пушкина. Но Пушкин вообще один. Гений такой величины нельзя относить ни к какой народности и ни к какой эпохе. При всяком сравнении они должны оставаться как бы вне конкурса. Так, золотым веком музыки нельзя считать первую половину XVIII столетия на том основании, что в это время творил Бах. Он тоже один во всей музыке. Если же принять во внимание, что поэзию нельзя строго отграничить от прозы, то русскую литературу от начала XIX века до

середины нашего вряд ли можно разделять на периоды. Можно только сказать, что за это время была создана великая русская литература. Но ее блеск и богатство обязывают нас осознавать свою ответственность, когда мы заявляем, что данный писатель занимает место в ее первых рядах. И я сознаю ее, когда считаю совершенно бесспорным помещение в эти ряды О. Э. Мандельштама [...].

Н(адежда) Я(ковлевна) заметила, что о самом для него священном и высоком О(сип) Э(милевич) избегал говорить. Я почему-то на это внимание не обратил. Но это действительно было так. Трудно допустить, что имя Пушкина никогда не упоминалось в наших разговорах. Однако я не помню, чтобы О(сип) Э(милевич) высказал какое-либо суждение о нем. Но однажды, в связи с каким-то упоминанием «Пира во время чумы», он произнес начало песни Мери, закончив стихами:

И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.

Ни сам он и никто из присутствующих уже не мог продолжать разговор о Пушкине. Произнеся эти стихи О(сип) Э(милевич) сдернул какую-то пелену, затуманившую их полный блеск и силу. Нельзя словами передать, какими средствами это было достигнуто. Кто-то сказал, что, чтобы быть гениальным писателем, нужно иметь гениального читателя. О(сип) Э(милевич) говорил, что чем сильнее стихи, тем труднее их читать. Но и не легче постигнуть их силу самому! И какая ответственность заявить гениальному автору, что ты и есть тот, для кого он писал! [...]

Стихи Мандельштама — силы необычайной. Значит о них говорить нельзя. Их можно только произносить. Но к этому у меня добавляется еще и то, что его самого я любил, как редко еще кого в своей жизни. Именно — не восхищался им, не преклонялся (для этого есть его творчество), а в самом простом значении — любил. Реже всяких других, вероятно, встречаются люди, способные тонко чувствовать, не имеющие в себе ничего фальшивого, не меряющие ничего и никого меркой корысти, рефлекторно отвечающие на любое событие благородным движением души, щадящие в каждом его человеческое достоинство, испытывающие боль от чужого страдания или унижения.

А Мандельштам, кроме того (а, может быть, несмотря на то), что был он гениальный поэт, был целиком сделан из всего этого высшего благородства. Но ведь нельзя же дружить с божеством. Да и быть божеством скучно и трудно. Разве что Гете мог выдержать эту марку. А гениальный и благородный Мандельштам, кроме только манеры задирать кверху голову, не имел в себе ничего олимпийского.

Я вижу, как уже из появившихся о нем воспоминаний создается портрет, который я не могу точно характеризовать, но с которым решительно не могу примириться. Кажется, человеческий облик О(сипа) Э(милевича), обрисованный его женой, не искажен. Но не могу сказать, насколько он полон (повторяю, что я не дочитал рукописи Н(адежды) Я(ковлевны) и, торопясь, не все прочитанное запомнил). Но против того, который начал складываться, неопровержимо говорит хотя бы одно только то, что, несмотря на ужасную судьбу О(сипа) Э(милевича) и на трагический пафос очень многого им написанного, сам он не только не был мрачен, но наоборот — был человек веселый, как никто понимавший шутку, комизм и восхитительно умевший шутить. За пять лет нашего постоянного общения более или менее безоблачным был только период нашей совместной поездки в Старый Крым и две или две с половиной недели, что я там прожил. Все остальное время было всегда трудным. Чаще всего просто у Мандельштамов не было денег. Не на что было есть, курить. Негде бывало жить. Но было постоянно и еще нечто, несравненно более тяжелое для поэта. — Обиды и неудачи в отчаянной борьбе за свое выявление, за аудиторию. Обо все этом не мог не идти разговор при наших почти ежедневных тогда встречах. Но я не могу припомнить ни одного самого мрачного момента, в который нельзя было бы ожидать от О(сипа) Э(милевича) острооты, шутки, сопровождающейся взрывом смеха. Не помню, чтобы я сам когда-либо чувствовал, что собственное мое остроумие неуместно при обсуждении невеселых положений. Шутить и хохотать можно было всегда. Был у нас даже особый термин «ржакт» (от глагола ржать) — для обозначения веселого и самого разнообразного по тематике зубоскальства, которому мы предавались при мало-мальски располагающей к этому обстановке. В этих ржактах порождались многие, часто коллективные, стихот-

творения и другие шуточные произведения. Большая часть их забыта, но некоторые уцелели в моей памяти. [...]

После сказанного можно понять, почему я до сих пор ничего не писал о Мандельштаме. Я и о своем отце, о матери, о брате, о сестрах и о жене не могу написать потому, что есть ступень любви и близости к людям, достижение которой кладет запрет на разговор о них.

Еще по одной причине трудно писать о людях великого дара, с которыми тебя связывала близкая дружба.— Некуда спрятаться самому. Всегда будет бесконечно много всяких «он сказал мне», «я сказал ему», «мы решили», «нам хотелось» и т. п. Одним словом, неизбежно получается «Ну что, брат Пушкин?» [...]

Дворик Эриванской мечети

Натуральный кармин добывается из мексиканской кошенили, в тканях которой он содержится в большом количестве¹. [...] Стремясь сократить ввоз импортных продуктов, пищевое ведомство в 1929 г. обратилось в Московский университет с запросом о возможности замены мексиканской кошенили каким-либо отечественным источником кармина. Ответить на этот запрос поручили, как энтомологу, мне. [...] Кошениль мы нашли, и два последующих года я занимался ею в Армении, а в 1930 г., нашел другого содержащего кармин червеца также и в Средней Азии. [...]

Шел уже второй год, как мне вполне раскрылась поэзия Мандельштама. Случилось как-то так, что его «Камень» прошел мимо меня. Может быть, это произошло по причине, что он попал мне в руки во время моего тяжелого заболевания Блоком и начала ослепления Пушкиным, Тютчевым, Гете, Горацем, не говоря уже об увлечении пестрой шумихой, поднятой ранними и поздними футуристами, имажинистами и другими «новыми» поэтами. Оценить при этих условиях драгоценности «Камня» мне было не по плечу, хотя бы только по моей незрелости. Но «Tristia» ударили меня всей своей силой в ту пору, когда я не мог ее не почувствовать. И вот уже больше года я завораживал себя бормотаньем волшебных стихов этого сборника. Небольшую книжечку в красной обложке я и решил взять с собой в долгое путешествие. Другая была — один из сборников Пастернака, кажется, «Поверх барьеров» или «Темы и вариации».

Мне следовало быть в Эривани ко времени массового выхода самок кошенили на поверхность земли для оплодотворения. [...]

Приехав в Эривань, я тотчас же устремился на расположенные неподалеку кошенильные солончаки и вздохнул с облегчением. Кошениль явно еще не собиралась заканчивать свое развитие под землей. Как я мог определить, до превращения ей оставался еще добрый месяц. Это мне было очень на руку. Все-таки я сильно ослабел от болезни, да и не отдохнул несколько от московских дел, кстати очень неприятных по причине, о которой расскажу когда-нибудь, если успею. Предстоящий месяц безделья меня радовал.

Конечно, о номере в единственной тогда Эриванской гостинице нечего было и думать. Да и обиделись бы Тер-Оганяны, у которых я с обеими своими дамами останавливался в прошлом году. [...]

В странах старой винной культуры чай бывает не в ходу. Жажду там утоляют вином или холодной водой, кстати — в Эривани на редкость вкусной. В обычном эриванском ресторане, столовой, кофейне можно получить кофей, какао, сладкое горячее молоко, простоквашу (мацун), только не чай. В среднеазиатских городах я проводил свободные от дел часы в чайханах. Там читал, писал и одну за другой заказывал порции чая, который пил непрерывно. В Эривани получить чай можно было только в турецких харчевнях на базаре. Но это были не среднеазиатские чайханы, в которых питье чая было главным занятием посетителей. Здесь подавалась главным образом еда. Верно, после нее можно было затребовать чай или черный кофей по-турецки. Но расположиться в харчевне надолго только за чаем было неудобно. Да и не очень уютно было долго сидеть среди базарного шума и пыли.

Эриванский базар примыкал к большой площади, заваленной тогда массой обте-

¹ Кошениль (червец) — насекомое, садовый вредитель, из нее приготавливали красную краску, пурпур.

санного камня, предназначенного, по-видимому, для какого-то строительства. Эта каменная свалка вплотную подходила к стене, огораживающей двор главной мечети. Майоликовые купола и зелень деревьев возвышались над стеной. Но главные ворота мечети, выходящие на площадь, были заперты. Однажды, проходя вдоль другой стены мечетного двора, я увидел в ней небольшие ворота. Они были открыты. Я вошел во двор мечети и просто остолбенел.— По соседству с самой непривлекательной частью города находился рай. Двор, выложенный каменными плитками, со всех сторон был обсажен мощными вязами, создававшими защиту от пыли окружающих улиц и, как казалось, даже от шума. Из-за деревьев проглядывали стены мечети и относящиеся к ней построек. Посреди дворика находился небольшой прямоугольной формы бассейн с двумя фонтанчиками. В нем плавали две белые утки. Бассейн тоже был обсажен с двух сторон развесистыми карагачами, между которыми стояли массивные, вытесанные из камня скамьи. Под одним из деревьев помещался стол, а на нем — огромный желтой меди самовар и арсенал чайной посуды. Несколько тюрков, большей частью пожилых, сидели на скамьях, одни — молча, другие — негромко переговариваясь между собой. Чайчи, тоже немолодой, бесшумно и неторопливо разносил и убирал стаканы. Я присел на одной из скамей. Мое появление не привлекло никакого явного внимания присутствовавших. Подошел чайчи и спросил: «Чай?» — Да. «Сладкий?» — Нет. Чай был, как всегда в чайханах, хорошо заварен и горячий.

От всякого национализма отдает чем-то глуповатым и смешным, а крайние его проявления отвратительны. Тем не менее я замечал за собой, что в путешествиях при возможности выбора я предпочитал находиться среди мусульман. Ведь и наблюдения над кошенилью можно было вести, обосновавшись в каком-нибудь армянском селении, но я сознательно выбрал тюркский Улия Сарванляр. Вот и здесь, в столице Армении, я нашел себе прибежище во дворе мечети. Открыв его, я понял, что с этого дня мое все же в какой-то степени томительное и стеснительное ожидание выхода кошенили превращается в чудный отдых, так необходимый для полного восстановления сил.

Порядок дня у меня установился следующий.— После утреннего завтрака с Тер-Оганянами я, забрав две свои книжки стихов, шел в направлении базара. По дороге покупал свежие центральные и выходящие на русском языке местные газеты. Они служили мне отчасти для чтения, но больше в качестве подкладки на каменную скамью, слишком жесткую для меня при сильном моем исхудании. Придя в мечеть, принимался за чтение, а иногда что-нибудь писал. Чайчи, уже не спрашивая, приносил мне чай. Круг постоянных заседателей под сенью карагачей у бассейна с белыми уточками был невелик. Скоро они привыкли ко мне и стали отвечать на мое общее приветствие вместе с чайчи. Тюркский язык я понимал очень плохо. Поэтому содержание тихих бесед посетителей чайханы было мне мало понятно. В их речи решительно преобладали имена числительные. Это указывало, что обсуждались преимущественно вопросы базарные или вообще коммерческие. Иногда, впрочем, речь шла о политике или о религии. Об этих предметах чаще говорилось, когда к компании присоединялся главный мулла Эрвани. Он, по-видимому, жил при мечети. Это был довольно высокий красивый и, как большинство мусульманских духовных, важный старик. Говорили, что он необычайно учен и получил свое образование в очень известном шиитском медресе в Тебризе. Присутствовавшие встречали его очень почтительно. Я вместе со всеми приветствовал и кланялся ему. Скоро и он стал отвечать мне отдельным кивком с вежливой улыбкой. Русского он не знал или делал вид, что не знает. Однажды через одного говорившего по-русски тюрка он задал мне несколько очень общих вопросов, касающихся моего происхождения, образования и рода занятий. После этого он с похвалой отозвался о профессии ученого, которую, несомненно, считал и своей, и мы коротко обменялись необходимыми любезностями. Когда наступал час обеда, я отправлялся на базар в тюркскую же харчевню. Обед мой почти неизменно состоял из горшочка пхити и порции шашлыка. Появлявшейся после этого жажды вполне хватало на то, чтобы, вернувшись в мечеть, утолять ее неспешно стакан за стаканом чая часов до 5—7 вечера. [...]

Однажды, уже незадолго до выхода кошенили, я сидел после обеда на своем обычном месте в чайхане. После прочтения в сотый раз какого-то стихотворения в одной из своих книжечек я отложил их в сторону и был занят своими мыслями. В это время вошли во дворик и направлялись к бассейну два человека, по внешности не здешних. Один был заметно старше меня, намного ниже моего роста, в белой рубашке, за-

правленной в брюки, и в серой кепке. Он шел с легкой улыбкой, оглядываясь по сторонам, и можно было понять, что сюда он попал впервые. Его спутником был молодой человек, очень вертлявый, что-то говоривший и жестикулирующий. На нем была светло-красная спортивная рубашка с черными обшлагами рукавов и воротом и с белой шнуровкой на груди, очень жалкие брючонки и резиновые тапки. Старший из пришедших, продолжая оглядывать дворик, очень тихо и ни к кому не обращаясь, произнес: «Как здесь хорошо», — и присел на соседнюю с моей скамью. Молодой человек порыскал вокруг бассейна, вернулся и начал задавать немногочисленным в это время посетителям чайханы разные вопросы, касающиеся мечети. Те, что понимали по-русски, отвечали крайне скупо. Тогда он переключился на меня. Он (впрочем, как я узнал потом, также и его спутник) принял меня, сильно загоревшего и не типичной русской внешности человека, за тюрка, пришедшего сюда, как, по его мнению, и все, кто здесь находился, для отправления религиозных действий. Убедившись, что в этом он ошибся, он принялся доискиваться, зачем же я здесь, кто я, чем занимаюсь и т. п. Меня эта настырность сильно раздражала, и мне хотелось послать этого надоедого парня к черту. Но у меня всегда не хватало духу сказать грубость человеку, хотя мне и неприятному, но говорящему со мной вежливо.

Поэтому Лева (так звали этого малого) удалось вытянуть из меня по капле все, что мучило его любопытство. Достигнув этого, он, обратившись к спутнику, молчаливо сидевшему со скрещенными руками и продолжавшему все с той же легкой улыбкой разглядывать все окружающее, воскликнул: — Осип Эмильевич! Вот товарищ занимается здесь очень интересным делом.

Молчаливый посетитель встал, улыбка его расширилась, он протянул мне руку и представился: — Мандельштам. — Я, также вставши, в свою очередь, отрекомендовался по фамилии. Дело начинало мне сильно не нравиться. — Вот теперь они примутся представлять ко мне вдвоем. Но скоро выяснилось, что я ошибся в своих мрачных предположениях. Лева, сдав меня старшему товарищу, на время замолчал и стал прислушиваться к нашему разговору. В нем мой новый собеседник сразу же проявил ту особую вежливость, которая разделяет поколения интеллигентов «до» и «после», которая уже к началу 30-х годов встречалась не очень часто, а теперь о ней вообще не имеют понятия и научиться ей уже больше нельзя. Это меня немного успокоило. На этой взаимной вежливости уже можно было поддерживать ставший неизбежным разговор, не заводя его слишком далеко и имея надежду на более или менее скорое его окончание. Мое впечатление, что оба незнакомца люди не местные, подтвердилось. Становилась все ясней какая-то причастность их к литературе. — Какие-нибудь газетчики, очеркисты или что-то в этом роде. Когда это стало уже несомненным, я, не очень в правилах установившейся в нашем разговоре вежливости, спросил: «Ну и что же вы должны здесь воспевать?» — Мой собеседник, премило улыбнувшись и высоко подняв брови, выпалил: «А ничего!» Было ясно, что он понял колкость моего вопроса, но, словно не замечая ее, продолжал вести нашу почти салонную беседу. Она вертелась около кошенили.

Я заметил, что все же он спрашивал меня о ней с интересом, по крайней мере к ее национально-культурной истории. Вероятно, это и заставило меня сказать, что кошениль попала и в нашу поэзию. — «Кто же о ней писал? — Я сказал, что о ней упоминает Пастернак и, как видно, грамотно. Я имел в виду:

И в крови моих мыслей и писем

Завелась кошениль.

Этот пурпур червца от меня независим.

Нет, не я вам печаль причинил².

В ответ было: «Да, Борис Леонидович всегда грамотен в своих стихах».

Тут во мне как бы сработал спусковой механизм. Мгновенно пронеслась в голове цепь мыслей. — Разве этот человек похож на тех, кто ездит в творческие командировки и хватается без церемонии каждого, кто может дать что-то для расцветивания имеющего появиться в результате командировки слащаво-лживого репортажа, очерка, романа?

² Пастернак Б. Л. Послесловие. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. С. 154.



Слева — направо: Я. С. Хачатрянц, Н. Я. Мандельштам, О. Э. Мандельштам в Армении, 1930 г. (Из архива П. М. Нерлера, публикуется впервые).

Он называет Пастернака по имени и отчеству. И опять-таки он явно не из тех, кто хотел бы показать постороннему, что он с Пушкиным на короткой ноге. Вертлявый тип называет его Осипом Эмильевичем. Да ведь он и сам назвал мне свою фамилию!

После мне стало понятно, что досада от появления в «моей» мечети неподходящих людей затормозила меня и я сразу же не сделал всех этих сопоставлений. Даже явственно слышанная фамилия меня ни на что не натолкнула. Она не так уж редка. Я и мысли не допускал, что поэт, стихами которого я бредил наяву, вдруг в самый разгар этого бреда появился передо мной. А он, мало того что появился, но еще целых полчаса заставлял меня желать, чтобы он убрался со своим компаньоном восвояси. Все это я говорю, пронеслось в моем мозгу в единое мгновение. Я ничего не анализировал, ни секунды не колебался. Вскочил, как ошпаренный, и закричал: «Да ведь я же вас знаю!»

Не было ли это единственным во взрослой моей жизни случаем полной потери самообладания? Я не задумывался, как будет принят этот мой почти вопль. А принят он был наипростейшим образом.— О(сип) Э(мильевич) встал и, опять протянув мне руку, сказал все с той же улыбкой: «Ну, давайте теперь знакомиться заново».

Стихотворение Мандельштама «Батюшков», написанное два года спустя, всегда вызывает у меня воспоминание о нашей первой встрече. Но даже и на следующий день я не мог бы рассказать, о чем мы говорили после вторичного рукопожатия. Помню только, что вдруг понесся поток мыслей, словно вырвавшихся на свободу и куда-то спешащих. Я все же сознавал, что завтра мне нужно ехать в Сарванляр, чтобы выяснить, не собирается ли кошениль выходить на поверхность. Поэтому спросил О(сипа) Э(мильевича), застану ли его в Эривани по возвращении через два дня. Узнав, что застану, успокоился.

Но время шло к вечеру. Чайчи принялся убирать посуду. Нужно было уходить. О(сип) Э(мильевич) хотел непременно познакомить меня со своей женой и настаивал, чтобы я шел с ним в гостиницу, где они жили. Мы пошли, ни на минуту не прекращая вести свой горячий разговор. Я не заметил, как Лева по пути где-то потерялся. И вообще этот Лева больше никогда мне не встречался. Кажется, с О(сипом) Э(мильевичем) он был знаком по работе в редакции комсомольской газеты, где Мандельштам то ли заведовал стихотворным отделом, то ли был в нем консультантом («Присевших на школьной скамейке, учить щебетать палачей»³). А, может быть, и просто был одним из тех странноватых для меня молодых людей, которые появлялись временами около него, имея, по большей части, некоторые специфичные задания.

Дойдя до своего номера в гостинице, О(сип) Э(мильевич) распахнул его дверь и с порога закричал: «Наденька, вот со мной пришел...». На кровати сидела отложившаяся в сторону книга и натянутая до подбородка одеяло Надежда Яковлевна. После она рассказывала мне, что лежала совсем раздетая, но, услышавши, что по коридору, с кем-то разговаривая, идет О(сип) Э(мильевич), поспешила закрыться одеялом. О(сип) Э(мильевич) осведомил ее об обстоятельствах нашей встречи и собирался продолжать наш разговор с ее участием. Не помню, каким способом она дала ему понять неудобство своего положения. Я решил, что она просто нездорова. Мы условились встретиться завтра же утром у меня, т. е. в доме Тер-Оганянов, а потом пойти обедать в мою тюркскую харчевню, после чего я должен был отправиться на вокзал.

Я несся из гостиницы к себе на улицу Спандаряна, не чувствуя земли под ногами. Объяснить свою радость моим хозяевам я не мог. Они не читали стихов Мандельштама, да и других не читали. И не думали, что такое занятие может интересовать меня. Однако исходившее от меня свечение радостью они заметили, и я им сказал, что встретил очень близких друзей.

Встреча с Мандельштамом обрадовала меня еще по одной особой причине.— С того дня, как мне стали знакомы его «Tristia», я пытался узнать, где он и что делает. На это мне никто не отвечал толком. Причастные к литературе мои знакомые говорили на эту тему с явной неохотой. Упоминали что-то о плагиате, который он будто бы совершил при переводе (?!) «Тилия Уленшпигеля»⁴, что он сошел с ума, что совсем перестал писать. Человек, с которым я нынче познакомился, не мог быть никем иным, кроме как автором стихов, что я знал. Он был прекрасен, как эти стихи.

Когда человек не идет, то он сидит или лежит. Сидячие и лежачие — люди двух принципиально различных категорий. Сам я лежа могу делать только одно — спать. Лежачие же в этом положении часто ведут беседу, даже с гостями, пишут, а уже читают только лежа. Отказываюсь судить, какой образ жизни правильной или лучше. Поделюсь только одним наблюдением.— Лежачие обычно не бывают пунктуальны. Мандельштамы были лежачие. Пришли они на следующее утро, конечно, гораздо позднее назначенного времени. Пора было уже скоро идти на базар обедать. Когда я об этом сказал, они переглянулись, и О(сип) Э(мильевич) с отчаянной решимостью выпалил, что обедать они не пойдут: у них нет ни копейки денег. Они и не подозревали, какое удовольствие доставило мне это заявление. Начать знакомство с того, чтобы накормить их, видно, голодных, восхитительным обедом, было просто замечательно. Обед, конечно, состоялся. Я уехал в Сарванляр. Через два дня вернулся, выяснив, что через неделю мне будет нужно ехать туда уже фундаментально.

³ В «Четвертой прозе» О. Э. Мандельштам писал: «Я поступил на службу в газету „Московский комсомолец“». См. также: *Нерлер П.* Осип Мандельштам в «Московском комсомольце» // *Литературная учеба.* 1982. № 3.

⁴ Об истории с переводом см.: *Мандельштам О. Э.* Письмо в редакцию // *Вечерняя Москва.* 1928. № 288.

За эту неделю и еще за несколько дней, проведенных в Эривани перед отъездом в Москву, я имел возможность достаточно приглядеться к Мандельштамам. Они, особенно О(сип) Э(мильевич), были по образу жизни прямой противоположностью мне. Насколько мне всегда были необходимы режим, размерность, ориентировка во времени, ощущение почвы под ногами, постоянство обстановки, определенность перспектив, хотя бы ближайших, настолько им все это было совсем чуждо. Казалось, они нигде не жили (в смысле оседлого пребывания), а только словно бы присаживались там или здесь в непрерывном кочевании без всякого направления. Их дни протекали так или иначе в зависимости от того, какое у них самочувствие, как складывалась обстановка, кто зашел из знакомых и т. п. Если строились какие-то планы, то только затем, чтобы их сейчас же нарушить. При этом чем категоричнее высказывалось намерение поступить каким-либо образом, чем лучше это было мотивировано, тем вернее было, что так сделано не будет. И все это на фоне постоянного острого безденежья.

Отношения близкой дружбы у нас установились даже не быстро, а словно мгновенно. Я был тотчас же втянут во все их планы и злосчастия. И с первого до последнего дня нашего общения каждая наша встреча состояла из смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения способов выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых (а если выполнимых, то не выполняемых) решений и, как я уже говорил, — шуток и хохота даже при самых мрачных обстоятельствах. Конечно, при коренном различии наших характеров и привычек дружба с Мандельштамами порой меня просто нервно изматывала. Но ведь все наши несходства относились только к житейским делам. Все же остальное, т. е. именно то, что составляло настоящую сущность обоих Мандельштамов в их отношении к вещам, событиям и людям, никогда не вызывало у меня ни малейшей досады. Но их беды причиняли мне сильнейшую сердечную боль.

Последние дни в Эривани прошли в бесконечных разговорах о планах на будущее. — Ехать в Москву добиваться чего-то нового, какого-то устройства там или оставаться в Армении? Трудно сосчитать, сколько раз решение этого вопроса изменялось. Но ко дню моего отъезда было решено окончательно. — Возможно только одно: остаться здесь. Только в обстановке древнейшей армянской культуры, через вращение в жизнь, в историю и в искусство Армении (имелось, конечно, в виду и полное овладение армянским языком) может наступить конец творческой летаргии. Возвращение в Москву исключено абсолютно. Я простился с Мандельштамами — как мы были уверены, навсегда — накануне дня своего отъезда. Сам этот день был целиком предназначен для прощания со всеми друзьями-армянами. А я хорошо представлял себе, какая это будет серьезная операция, и молил Бога о ниспослании мне сил для перенесения предстоявших угощений лучшими образцами араратских коньяков. Операцию эту я провел, но уже лучше не буду вспоминать о состоянии, в какое она меня привела к концу дня.

О дружбе

Вернувшись в Москву, я завертелся в своих обычных делах — университетских, кошенильных, термитных и во всяких других. [...]

Не помню точно, в каком позднеосеннем месяце меня позвали к телефону. Я был изумлен, услышав голос Н(адежды) Я(ковлевны). В то время я еще недостаточно привык к тому, что решения, принимаемые О(сипом) Э(мильевичем) почти наверное заменяются противоположными. Твердо решив остаться в Армении, Мандельштамы, конечно же, должны были вскоре приехать в Москву. Трубку вскоре взял О(сип) Э(мильевич). Его голос был бодрый и радостный. Он прежде всего сообщил мне главную новость. — «А я опять стал писать. Какие у меня новые стихи!» — Я немедленно отправился к ним. Мы встретились так, будто расстались только вчера. Когда я напомнил, что решение остаться в Армении было окончательным, О(сип) Э(мильевич) воскликнул: «Чушь! Бред собачий!» Словно бы речь шла действительно о чем-то приснившемся в бредовом сне. Я и после замечал, что он, унесенный неизвестно откуда взявшимися и по всему духу чуждыми ему умственными построениями, вдруг точно просыпался и отряхивался от этой искусственной чуши, в которую ему, однако, еще накануне вполне искренне хотелось верить. Особенно, по-видимому, для него был силен соблазн уверовать в нашу официальную идеологию, принять все ужасы, каким она служила ширмой, и встать в ряды активных борцов за великие идеи и за прекрас-

ное социалистическое будущее. Впрочем, фанатической убежденности в своей правоте при этих заскоках у него не было⁵. Всякий, кто близко и дружески с ним соприкасался знает, до чего он был бескомпромиссен во всем, что относилось к искусству или к морали. Я не сомневался, что если бы я резко разошелся с ним в этих областях, то наша дружба стала бы невозможной. Но когда он начинал свое очередное правоеверное чириканье, а я на это бурно негодовал, то он не входил в полемический пыл, не отстаивал с жаром свои позиции, а только упрашивал согласиться с ним.— «Ну, Борис Сергеевич, ну ведь правда же это хоршо». А через день-два: «Неужели я это говорил? Чуть! Бред собачий!»

Сейчас я видел пробуждение О(сипа) Э(милевича) не после какого-то рядового заскока, но необычайно полное, всеобщее. Он был в сильной ажитации, в какой я его ни разу не видал в Эривани. Ни о чем, относящемся к повседневным нуждам, к быту, не говорилось, как словно бы эти вопросы были решены и теперь можно и нужно было говорить только о главном. Об этом и говорилось. Вперемежку, как всегда, с грехотом смеха. Главным были стихи.— Цикл стихов об Армении. И было начато или еще только задумано «Путешествие в Армению».

С этого дня все пошло так, как только и может идти с Мандельштамами.— Появление чудных стихов. Возникновение новых заскоков. Пробуждения после них. И непрерывное бедствие. Негде жить. Покамест приютились у Е. Я. Хазина. Но у него не квартира, а комната. И он не один.— Жена. И в той же квартире теща, дама, которую я не видал ни разу, но, как можно было судить, довольно страшная.

Я сейчас не помню годов последовательных кочевок Мандельштамов. На небольшое время они поселились в комнате уехавшего, кажется, в отпуск брата О(сипа) Э(милевича), Александра Э(милевича) (1892—1942.— *Прим. ред.*), жившего в одном из переулков на Маросейке. Там-то их соседом и оказался «еврейский музыкант» Александр Герцевич, навещивавший Шуберта. Потом отправились в Ленинград. «Выдавшие виды манатки» — старый расплывающийся чемодан, старая же корзина и еще какие-то связанные коробки были погружены в пролетку одного из последних в Москве извозчиков. Где-то среди вещей или на них устроились Н(адежда) Я(ковлевна) и О(сип) Э(милевич). Когда пролетка тронулась, О(сип) Э(милевич), махая на прощанье рукой, кричал мне: «Борис Сергеевич, не носите крахмальные воротнички. Их нельзя носить. Они вас погубят». Возможно, он был прав. Потом возвращение из Ленинграда. Появилось «Я вернулся в свой город». И как уже тогда были поняты эти «шевелия кандалами цепочек дверных». Появилась «полуспаленка-полютюрма» — комнатка сестры Н(адежды) Я(ковлевны) в Ленинграде. Потом довольно длительная оседлость в доме Герцена на Тверском бульваре. Там все кишело всякой писательской шушерой и провокаторами. [...]

Сейчас мне трудно припомнить, при каких обстоятельствах немного улучшились материальные дела Мандельштамов. Были опубликованы «Путешествие в Армению» и цикл стихов об Армении. Организовано выступление О(сипа) Э(милевича) со стихами в Ленинграде. Дана квартира в Нашокинском переулке. Но моя забывчивость имеет некоторое оправдание.— Ведь в это время жил и я сам. Было много своих трудных и поглощавших мое внимание дел. А мои профессиональные и служебные интересы далеки от того, чем жили Мандельштамы. В то же время редкий день мы не встре-

⁵ Б. С. Кузин здесь не прав. В этой связи можно напомнить слова О. Э. Мандельштама, сказанные им еще в 1923 г.: «Монументальность надвигающейся социальной архитектуры обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на принципе всемирной домашности на потребу человеку, расширяя круг его домашней свободы до пределов всемирных, раздувая пламя его индивидуального очага до размеров пламени вселенского. Грядущее холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности и телеологии, так же ясно для современного гуманиста, как жар накаленной печки сегодняшнего дня» (Гуманизм и современность//Накануне. 1923. № 240. Литературное приложение № 36). Можно напомнить мысль А. А. Ахматовой из ее воспоминаний об О. Э. Мандельштаме: «Революция была для него огромным событием, и слово народ не случайно фигурирует в его стихах». Более точно, очевидно, характеристика, данная взглядам О. Э. Мандельштама Л. Гинзбург: «Мандельштам неизменно выступает как человек, принявший революцию» (Гинзбург Л. Поэтика Осипа Мандельштама//О старом и новом. Л., 1982. С. 258). Очевидно, в этих оценках Б. С. Кузина нашли свое отражение тяжелые обстоятельства его жизни.

чались. И создавалась какая-то мозаика, которую мне теперь просто невозможно распутать.

Стихотворение «К немецкой речи» посвящено мне. Но обращено оно к обозначенному в заглавии адресату. Не ко мне прямо. Однако в нем есть слова, очень для меня значительные:

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.

О(сипу) Э(милевичу) дружба была необходима. Хорошие, даже близкие отношения у него были со многими. Начиная с родственников, своих и женных. Верхнейшим другом-спутником была, конечно, Н(адежда) Я(ковлевна). Но она была жена. А друг — нечто совсем иное. Из тех, кого я встречал у Мандельштамов, я не могу назвать ни одного близкого друга О(сипа) Э(милевича). Ближе других, пожалуй, был В. И. Нарбут. Приятельские отношения с прежних лет сохранились с М. А. Зенкевичем, меньше с Городецким. Но эти двое были уж очень много ниже калибром (общим, человеческим), чтобы быть его друзьями. С необычайным уважением, мало того, — с каким-то пиететом, относился О(сип) Э(милевич) к А. А. Ахматовой. В нашокинской квартире одна из комнат была почти лишена мебели и обычно пустовала. Ее и отводили А(нне) А(ндреевне), останавливавшейся в Москве у Мандельштамов, и О(сип) Э(милевич) окрестил ее «капищем Анны Андреевны». Также и после его смерти А(нна) А(ндреевна) всегда была связана с Н(адеждой) Я(ковлевной). [...]

Мне кажется, что на личных отношениях между писателями сказывается неизбежная, по-видимому, для них литературная партийность, а может быть и какая-то скрытая ревность. О(сип) Э(милевич) не был свободен от них. Как поэта я не могу поставить Бунина в один ряд с Тютчевым, Фетом или Блоком. Но некоторые его стихотворения (и не так уже их мало), бесспорно, очень хороши.

Однажды я при Мандельштаме произнес начало последней строфы стихотворения Бунина «Имру-уль-Кайс»:

Ночь тишиной и мраком истомила.
Когда конец?
Ночь, как верблюд, легла и отдалила
От головы крестец

О(сип) Э(милевич) почти шепотом сказал: «Как хорошо. Чье это?» Я назвал автора. На лице О(сипа) Э(милевича) появилось выражение, точно он проглотил что-то невкусное. Затем наступила небольшая пауза, после которой он начал. — «Сразу можно определить слабого поэта. Вот у него... и т. д.»

По всему, что я слышал и от самого О(сипа) Э(милевича), и от ближайших к нему людей, у меня сложилось мнение, что по-настоящему близким его другом был только Н. С. Гумилев.

И вот, несмотря на все, что я говорил вначале этих записок, я все же позволю себе считать, что дружба связывала О(сипа) Э(милевича) и со мной. Думаю, он понимал, что в моем отношении к нему проявлялась не только оценка его как поэта, но в равной мере любовь к нему самому. Я говорил, что потребность в дружбе у него была огромная. Но и у меня тоже. А видимо, чем сильнее эта потребность, тем труднее найти друга. Потому что дружить — дело нелегкое и не всякий к нему способен. Будучи совершенно откровенен во всем, что здесь пишу, я признаюсь в своем допущении, что завязавшаяся между нами осенью 1930 г. дружба была для О(сипа) Э(милевича) выстрелом, разбудившим его и возвратившим к поэзии. [...]

Русские стихи

В доме Герцена, где наряду со знатными представителями советской литературы, но, конечно, в совсем других условиях, проживали и отверженные, одним из соседей Мандельштамов был С. А. Клычков [...]

После нескольких попыток вызвать меня на дискуссию с целью показать тщету и ничтожество науки Клычков понял, что из этой затеи со мной ничего не выйдет, и прекратил свои наскоки. А человек он был очень хороший и талантливый.

Однажды в каком-то споре с Мандельштамом он сказал ему. «А все-таки, О(сип) Э(милевич), мозги у вас еврейские». На это Мандельштам немедленно отпарировал:

«Ну что ж, возможно. А стихи у меня русские». — «Это верно. Вот это верно!» — с полной искренностью признал Клычков.

Еще бы это было неверно! Для меня Мандельштам не только великий поэт, но именно великий русский поэт. Все им написанное так целиком в духе русской поэзии, что невозможно вообразить, чтобы его стихи были прекрасным переводом поэта-француза, немца или поэта какой угодно другой страны. Их мог написать только русский поэт.

Очень трудно, может быть, даже невозможно сказать, что же так особенно выделяет нашу литературу и чем определяется принадлежность к ней настоящего русского поэта. Быть может, это — особо острое и трепетное восприятие природы, вообще ландшафта или неодолимая тяга ко всему стихийному. Но больше всего, по-моему, это — сильнейшее ее моральное напряжение. И, конечно, всякий большой поэт должен обожать язык, на котором он пишет, быть зачарованным его звучанием, звуковой и смысловой магней его слов, игрой и переливами их значения. Поэтому он не может быть дву- или многоязычным. [...]

И стихи Мандельштама русские, и никакие другие. [...]

Читателя! Советчика! Врача!

Еще до знакомства с Мандельштамом я слышал, что он человек очень трудный и с тяжелым характером. Как могло сложиться такое мнение? Думаю, что оснований для него могло быть достаточно. Посредственные люди не выносят в других положительных качеств, каких они лишены сами. Они не верят, что такие качества вообще существуют, и воспринимают чужую пронзительность, порядочность, щедрость, доброту и т. п. как притворство или ханжество. Но особенно они не переносят остроумия. Если принять, что самая чувствительная часть человеческого тела — карман и что самую быструю и острую реакцию обычно вызывает боязнь всякой материальной утраты, то на втором месте следует поставить страх перед насмешкой. А остроумный человек всегда в этом отношении потенциально опасен.

Дружба с Мандельштамом была тяжела и мне. Но по единственной причине. — Страшно было видеть, как он, словно нарочно, рвался к своей гибели. Во всех других отношениях он был, на мой взгляд, удивительно легок для самой тесной дружбы. И это прежде всего потому, что он был человек очень открытый и без дружбы просто дышать не мог. Именно тоской даже не о друге, а хотя бы только о собеседнике, о слушателе вызван его вопль:

Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей — разговора б!⁶

Рождение новых стихов было для О(сипа) Э(милевича) всегда радостью, которую ему необходимо было с кем-то, и как можно скорей, разделить. Конечно, самым первым его читателем была Н(адежда) Я(ковлевна). Ее даже мало назвать читателем, так как обычно она, собственно, и писала стихотворения, т. е. записывала стихи или строфы, которые О(сип) Э(милевич) произносил после сосредоточенной внутренней работы, сопровождаемой бормотаньем, мычаньем, выкриками отдельных слов, шаганием по комнате, беспорядочным курением, а иногда и пожевыванием какой-нибудь еды. При выборе одного из двух или нескольких вариантов он повергал их на суд жены, с которым, впрочем, часто и не соглашался. Но готовое и прошедшее строжайшую собственную оценку стихотворение было необходимо прочитать кому-либо из друзей. Всегда новые стихи, написанные в годы 1930—1934, прослушивал и я.

Я считаю, что слабых, а в молодости — незрелых стихотворений у Мандельштама вообще не было. И это удивительно для поэта. Но тем не менее я принимал не все написанное им. Не все его стихи звучали для меня одинаково. Допускаю, что установленные мною категории очень субъективны, но я их различал, и к первой, абсолютно преобладающей, я относил стихи (и, конечно, прозу), в которых автор предстал передо мной весь полностью. Их нельзя воспринимать отдельно от всего его облика. При их чтении кажется, что О(сип) Э(милевич) должен был их написать, что они **необходимы**

⁶ Заключительные строки из стихотворения воронежского цикла «Куда мне деться в этом январе?».

как некий особый ракурс, без которого его портрет был бы обеднен. И эти стихи прежде всего беспощадно правдивы, непрекаемо убедительны. В них я узнаю или с ними сопоставляю свои собственные переживания или через них становится видимым то, мимо чего я до сих пор проходил без внимания. Но всякий человек может увлечься и чем-то для него случайным. Даже увлечься сильно и, как ему кажется, искренне. Однако этот предмет остается для него все же только внешним, представление о нем поверхностным, иногда подсказанным кем-то, не результатом озарения после настойчивых и мучительных возвращений к нему, а иногда и обидно неверным. Когда это происходит с художником, то это не может не отразиться на поэтической силе его творения. Происходило это и с Мандельштамом. И я замечал, что в стихах и в прозе, относимых мною к этой категории, он бывает особенно прятен и расточителен в эпитетах, образах и сравнениях, не имеющих, на мой взгляд, безусловной убедительности.

О(сип) Э(милевич) прекрасно сознавал свою поэтическую силу. Тем не менее он, как ребенок, тянувшийся к сладенькому, хотел полного признания того, что он написал. При честной нашей дружбе я не всегда мог доставить ему эту радость и в этих несчастных случаях был с ним вполне правдив. Он тогда явно огорчался. Возражал. А затем словно упрощал:— «Да нет же, Б(орис) С(ергеевич), стихи хорошие. Ну послушайте...»,— и снова читал написанное.— «Ведь хорошо!» Мои протесты лишь в редких случаях имели последствием внесение некоторых небольших поправок. Но и сам я не изменил своего отношения к тому, что мне казалось написанным не в полную силу Мандельштама.

Однажды утром О(сип) Э(милевич) прибежал ко мне один (без Н(адежды) Я(ковлевны)), в сильном возбуждении, но веселый. Я понял, что он написал что-то новое, чем было необходимо поделиться. Этим новым оказалось стихотворение о Сталине. Я был потрясен им и этого не требовалось выражать словами. После паузы остолбенения я спросил О(сипа) Э(милевича), читал ли он это еще кому-нибудь.— «Никому. Вам первому. Ну, конечно, Наденька...» Я в полном смысле умолял О(сипа) Э(милевича) обещать, что Н(адежда) Я(ковлевна) и я останемся единственными, кто знает об этих стихах. В ответ последовал очень веселый и довольных смех, но все же обещание никому больше эти стихи не читать О(сип) Э(милевич) мне дал. Когда он ушел, я сразу же подумал, что немисливо, чтобы стихи остались неизвестными по крайней мере Евг(ению) Я(ковлевичу) (брату Н(адежды) Я(ковлевны)) и Анне Андр(еевне), при первой же ее встрече с О(сипом) Э(милевичем). А Клычкову?— Нет, не сдержит он своего обещания. Слишком уж ему нужно Читателя! Советчика! Врача!

Буквально дня через два или три О(сип) Э(милевич) со сладчайшей улыбкой, точно бы он съел кусок чудного торта, сообщил мне: «Читал стихи (было понятно, какие) Борису Леонидовичу». У меня оборвалось сердце. Конечно, Б. Л. Пастернак был вне подозрений (как и Ахматова, и Клычков), но около него всегда увивались люди (как и вокруг О(сипа) Э(милевича)), которым я очень поостерегся бы говорить что-нибудь. А самое главное — мне стало ясно, что за эти несколько дней О(сип) Э(милевич) успел прочитать страшные стихи еще не одному своему знакомому. Конец этой истории можно было предсказать безошибочно. Даже несколько удивительно, что в надлежащее место стихи попали только через год.

В 1934 г. отправился в ссылку О(сип) Э(милевич), а весной 1935 забрали меня. Выйдя через два с лишним года из лагеря, я списался с Мандельштамами, приехавшими тогда в Москву. Но мы успели обменяться лишь немногими письмами, так как вскоре О(сип) Э(милевич) был арестован и отправлен в лагерь на Колыму. В начале 1938 г. Н(адежда) Я(ковлевна), зная, что первые вести от О(сипа) Э(милевича) из этого лагеря придут нескоро и что зимовать ему придется где-то близ Владивостока, приехала ко мне в Шортланды. Она договорилась с братом, что он немедленно оповестит ее, если что-либо узнает об О(сипе) Э(милевиче). Находясь у меня, Н(адежда) Я(ковлевна) по памяти записала все не напечатанные стихотворения О(сипа) Э(милевича) и оставила эти записи у меня. Ее память удивительна. Но после выхода американского собрания сочинений Мандельштама я увидал, что все же она сохранила в памяти не все⁷.

⁷ 11.7.1942 г. Н. Я. Мандельштам писала Б. С. Кузину: «Мне сказали, что Ося до последних дней писал стихи. Господи...»